

УПРЯМЫЙ СТАРИК

Рисунок Мариной Медведевой

На севере вятской земли был случай, о котором, может быть, и поздно, но хочется рассказать.

Когда началась так называемая кампания по сносу деревень, в деревне жил хозяин. Он жил бобылем. Похоронив жену, больше не женился, тайком от всех ходил на кладбище, сидел подолгу у могилки жены, клал на холмик полевые и лесные цветы. Дети у них были хорошие, работающие, жили своими домами, жили крепко (сейчас, конечно, все разорены), старика навещали. Однажды объявили ему, что его деревня попала в число неперспективных, что ему дают квартиру на центральной усадьбе, а деревню эту снесут, расширят пахотные земли. Что такой процесс идет по всей России. «Подумай, — говорили сыновья, — нельзя же к каждой деревне вести дорогу, тянут свет, подумай по-государственному».

Сыновья были молоды, их легко было обмануть. Старику же сердцем понимал: идет нашествие на Россию. Теперь мы знаем, что так было. Это было сознательное убийство русской нации, опустошение, а вслед за этим одичание земель. Какое там расширение пахотной площади! Болтовня! Гнать трактора с центральной усадьбы за десять-пятнадцать километров — это разумно? А выпасы? Ведь около центральной усадьбы все будет вытоптано за одно лето. И главное — личные хозяйства. Ведь они уже будут — и стали — не при домах, а поодаль. Придешь с работы измученный, и надо еще тащиться на участок, полоть и поливать. А покосы? А живность?

Ничего не сказал старику. Оставшись один, вышел во двор. Почти все, что было во дворе, хлевах, сарае, — все должно было погибнуть. Старику глядел на инструменты и чувствовал, что предает их. Он затопил баню, старая треснутая печь дымила, ело глаза, и старику думал, что плачет от дыма. Заплаканным и перемазанным сажей, он пошел на кладбище.

Назавтра он объявил сыновьям, что никуда не поедет. Они говорили: «Ты хоть съезди, посмотри квартиру. Ведь отопление, ведь электричество, ведь водопровод!» Старику отказался наотрез.

Так он и зимовал. Соседи все перебрались. Старые дома разобрали на дрова, новые раскатали и увезли. Проблемы с дровами у старика не было, керосина ему сыновья достали, а что касается электричества и телевизора, то старику легко обходился без них. Изо всей скотины у него остались три курочки и петух, да еще кот, да еще песик, который жил в сенях. Даже в морозы старику был непреклонен и не пускал его в избу.

Весной вышел окончательный приказ. Сверху давили: облегчить жизнь жителям неперспективных деревень, расширить пахотные угодья. Коснулось и старику. Уже не только сыновья, но и начальство приезжало его уговаривать. Кой-какие остатки сараев, бань, изгородь сожгли. Старику жил как на пепелище, как среди выжженной фронтовой земли.

И еще раз приехал начальник: «Ты сознательный человек, подумай. Ты тормозишь прогресс. Твоей де-

ревни уже нет ни на каких картах. Политика такая, чтоб Нечерноземье поднять. Скажу тебе больше: даже приказано распахивать кладбища, если со дня последнего захоронения прошло пятнадцать лет».

Вот это — о кладбищах — поразило старика больше всего. Он представил, как по его Анастасии идет трактор, как хрустит и вжимается в землю крест, — нет, это было невыносимо.

Но сыновьям, видно, крепко приказали что-то решать с отцом. Они приехали на тракторе с прицепом, стали молча выносить и грузить вещи старика:

постель, посуду, настенное зеркало. Старики молчал. Они подошли к нему и объявили, что если он не поедет, его увезут насильно. Он не поверил, стал вырываться. Про себя он решил, что будет жить в лесу, выкопает землянку. Сыновья связали отца: «Прости, отец», посадили в тракторную тележку и повезли. Старики мотал головой и скрипел зубами. Песик бежал за трактором, а кот на полдороге вырвался из рук одного из сыновей и убежал обратно в деревню.

Больше старики не сказали никому ни слова.

МОЛИТВА МАТЕРИ

«Материнская молитва со дна моря достанет» — эту пословицу, конечно, знают все. Но многие ли верят, что пословица эта сказана не для красного словца, а совершенно истинно, и за многие века подтверждена бесчисленными примерами.

Отец Павел, монах, рассказал мне случай, произошедший с ним недавно. Он рассказал его, как будто все так и должно было быть. Меня же этот случай поразил, и я его перескажу, думаю, что он удивителен не только для меня.

На улице к отцу Павлу подошла женщина и попросила его сходить к ее сыну. Исповедать. Назвала адрес.

— А я очень торопился, — сказал отец Павел, — и в тот день не успел. Да, признаться, и адрес забыл. А еще через день рано утром она мне снова встретилась, очень взволнованная, и настоятельно просила, прямо умоляла пойти к сыну. Почему-то я даже не спросил, почему она со мной не шла. Я поднялся по лестнице, позвонил. Открыл мужчина. Очень неопрятный, молодой, видно сразу, что сильно пьющий. Смотрел на меня дерзко, я был в облачении. Я поздоровался, говорю: ваша мама просила меня к вам зайти. Он вскинулся: «Ладно врать, у меня мать пять лет как умерла». А на стене ее фотография среди других. Я показываю на фото, говорю: «Вот именно эта женщина просила вас навестить». Он с таким вызовом: «Значит, вы с того света за мной пришли?» — «Нет, — говорю, — пока с этого. А вот то, что я тебе скажу, ты выполнит: завтра с утра приходи в

храм». — «А если не приду?» — «Придешь: мать просит. Это грех — родительские слова не исполнять».

И он пришел. И на исповеди его прямо трясло от рыданий, говорил, что он мать выгнал из дома. Она жила по чужим людям и вскоре умерла. Он даже и узнал-то потом, даже не хоронил.

— А вечером я в последний раз встретил его мать. Она была очень радостная. Платок на ней был белый, а до этого темный. Очень благодарила и сказала, что сын ее прощен, так как раскаялся и исповедался и что она уже с ним виделась. Тут я уже сам, с утра, пошел по его адресу. Соседи сказали, что вчера он умер, увезли в морг.

Вот такой рассказ отца Павла. Я же, грешный, думал: значит, матери было дано видеть своего сына с того места, где она была после своей земной кончины, значит, ей было дано знать время смерти сына. Значит, и там ее молитвы были так горячи, что ей было дано воплотиться и попросить священника исповедать и причастить несчастного раба Божия. Ведь это же так страшно — умереть без покаяния, без причастия.

И главное: значит, она любила его, любила своего сына, даже такого, пьяного, изгнавшего родную мать. Значит, она не сердилась, жалела и, уже зная больше всех нас об участии грешников, сделала все, чтобы участь эта миновала сына. Она достала его со дна греховного. Именно она, и только она силой своей любви и молитвы.

ПЕТУШИНЫЕ КРИКИ

Все люди, все до единого, те, кто вышел из сельской местности, а теперь живущие в городах, вспоминают детство. Оно им снится, о нем они любят говорить. Рыбалка, река, сенокос, лыжи зимой, санки. Сияние полной луны над серебряным снеж-

ным покровом. Запах дыма от русских печей, что говорить.

Один большой начальник особенно тосковал по петушиному пению. Дети его просили купить им попугая. Он купил. Попугай оказался очень способным к обуче-

нию. Когда начальник поехал в отпуск навестить старуху мать, то взял с собой клетку с попугаем. В деревне он поместил попугая в курятник, и попугай в два дня выучился кукарекать.

И теперь он живет в Москве и кукарекает. Вначале мешал спать, ибо, по примеру сельских своих учителей, кричал на заре, и его клетку стали накрывать. Тогда он приспособился кричать днем и вечером. Так и живет.

Кому-то напоминает деревню, а кому-то евангельского петуха — алектора, который дважды успел прокричать в то время, в которое апостол Петр трижды отрекся от Христа.

Конечно, наш попугай, играющий роль петуха, будет кукарекать долго и обязательно переживет своих учителей, ибо им до старости дожить не суждено.

ГРЕЧИХА

Вот одно из лучших воспоминаний о жизни.

Я стою в кузове бортовой машины, уклоняюсь от мокрых еловых веток. Машина воет, истертые покрышки, как босые ноги, скользят по глине.

И вдруг машина вырывается на огромное, золотое с белым, поле гречихи. И запах, который никогда

не вызвать памятью обоняния, теплый запах меда, даже горячий от резкости удара в лицо, охватывает меня.

Огромное поле белой ткани, и поперек продернута коричневая нитка дороги, пропадающая в следующем темном лесу.

РЕКА ЛОБАНЬ

Но до чего же красива река Лобань! Просто как девочка-подросток играет и поет на перекатах. А то шлепает босиком по зелени травы, по желтизне песка, то по серебру лопухов мать-и-мачехи, а то прячется среди темных елей. Или притворится испуганной и жмется к высокому обрыву. Но вот перестает играть и заботливо поит корни могучего соснового бора.

Давно сел и сижу на берегу, на бревнышке. Тихо сижу, греюсь предвечерним теплом. Наверное, и птицы, и рыбы думают обо мне, что это какая-то коряга, а коряги они не боятся. Старые деревья, упавшие в реку, мешают ей течь плавно, зато в их ветвях такое музыкальное журчание, такой тихий плавный звон, что прямо чуть не засыпаю. Слышу — к звону воды добавляется звоночек, звяканье колокольчика. А это, оказывается, подошла сзади корова и щиплет траву.

Корова входит в воду и долго пьет. Потом поднимает голову, и стоит неподвижно, и смотрит на тот берег. Колокольчик ее умолкает. Конечно, он надоел ей за день, ей лучше послушать говор реки.

Из леса с того берега выходит к воде лосиха. Я замираю от счастья. Лосиха смотрит по сторонам, смотрит на наш берег, оглядывается. И к ней выбегает лосенок. Я перестаю дышать. Лосенок лезет к маминому молочку, но лосиха отталкивает его. Лосенок забегает с другого бока. Лосиха бедром и мордой подталкивает его к воде. Она после маминого молочка не очень ему нравится, он фыркает. Все-таки он немного пьет и замечает корову. А корову, видно,кусает слепень, она встремливается головой, колокольчик на шее брякает, лосенок

пугается. А лосиха спокойно вытаскивает завязшие в иле ноги и уходит в кусты.

Начинается закат. Такая облитая светом чистая зелень, такое режущее глаза сверкание воды, такой тихий, холодеющий ветерок.

Ну и где же такая река Лобань? А вот возьму и не скажу. Она не выдумана, она есть. Я в ней купался. Я жил на ее берегах.

Ладно, для тех, кто не сделает ей ничего плохого, скажу. Только путь к Лобани очень длинный, и надо много сапог сносить, пока дойдешь. Хотя можно и босиком.

Надо идти вверх и вверх по Волге — матери русских рек, потом будут ее дочки: сильная суровая Кама и ласковая Вятка, а в Вятку впадает похожая на Иордан река Кильмезь, а уже в Кильмезь вливается Лобань.

Вы поднимаетесь по ней, идете по золотым пескам, по серебристым лопухам мать-и-мачехи, через сосновые боры, через хвойные леса, вы слышите ветер в листвах берез и осин и вот выходите к тому бревнышку, на котором я сидел, и садитесь на него. Вот и все. Идти больше никуда не надо и незачем. Надо сидеть и ждать. И с той, близкой, стороны выйдет к воде лосиха с лосятами. А на этом берегу будет пастись корова с колокольчиком на шее.

И редкие птицы будут лететь посередине Лобани, и будут забывать о своих делах, засмотревшись в ее зеркало. Ревнивые рыбы будут тревожить водную гладь, подпрыгивать, завидовать птицам и шлепаться обратно в чистую воду.

Все боли, все обиды и скорби, все мысли о плохом исчезнут навсегда в такие минуты. Только воздух и небо, только облака и солнышко, только вода в берегах,

только родина во все стороны света, только счастье, что она такая, красивая, спокойная, добрая.

И вот такая течет по ней река Лобань.

ПАДАЕТ ЗВЕЗДА

Если успеть загадать желание, пока она не погасла, то желание исполнится. Есть такая примета.

Я запрокидывал голову и до слез, не мигая, глядел с Земли на небо.

Одно желание было у меня, для выполнения которого были нужны звезды, — то, чтобы меня любили. Над всем остальным я считал себя властным.

Когда вспыхивал, сразу гаснувший, изогнутый след звезды, он возникал так сразу, что заученное наизусть желание: «Хочу, чтобы меня любила...» — отскакивало. Я успевал сказать только, не голосом — сердцем: «Люблю, люблю, люблю!»

Когда упадет моя звезда, то дай бог какому-нибудь мальчишке, стоящему далеко-далеко внизу, на Земле, проговорить заветное желание. А моя звезда постараётся погаснуть не так быстро, как те, на которые загадывал я.

ГДЕ-ТО ДАЛЕКО

Много времени в детстве моем прошло на полатях. Там я спал и однажды — жуткий случай — заблудился.

Полати были слева от входа, длинные, из темно-скипидарных досок.

Мне понадобилось выйти. Я проснулся: темень, темная. Пополз, пятаясь, но уперся в загородку. Пополз вбок — стена, в другой бок — решетка. Вперед — стена. Разогнулся и ударился головой о потолок. Слезы показа-

пали на бедную подстилку из чистых половиков.

Тогда еще не было понимания, что если ты жив, то это еще не конец, и ко мне пришел ужас конца.

Все уходит, все уходит, но где-то далеко, далеко, в деревянном доме с окнами в снегу, в непроглядной ночи, в душном тепле узких, по форме гроба, полатях, ползает на коленках мальчик, который думает, что умер, и который проживет еще долго-долго.

ЛОДКА НАДЕЖДЫ

У рыбакских лодок нежные имена: Лена, Светлана, Ольга, Вера... Я шел с рыбаками на вечерний вымет сетей на баркасе «Надежда» и пошутил, что с лодкой надежды ничего не может случиться.

— Слюнь! — велел старший рыбак.

Солнце протянуло к нам красную дорогу, и на конце этой дороги волны нянчили наш баркас.

Пришли на место. Выметали сети. Отгребли, запустили мотор.

Рыбак, тяжело ступая баходилами, подошел и сел. Помолчал.

Проектор заката вел нас на своем острие.

— Надежда! — сказал рыбак. — На этой «Надежде» нас мотало, думали: хватит, поели рыбки, сами рыбкам на корм пойдем.

От лодки разлетались белые усы брызг, как будто лодка отфыркивалась в обе стороны.

— А ты ничего, — одобрил он. — Выбирать пойдешь?

— Пойду.

И вот хоть верь, хоть не верь, своей дурацкой шуткой я накликнул беду. Когда на следующий день мы выбирали сети, налетел шторм.

Лодку швыряло, как котенка. Ветер ревел так, что уничтожал крик у самых губ.

Вернув рыбу морю и отдав пучине сети, мы все-таки выгребли. Когда, обессиленные, мы лежали на песке и волны, всхрапывая от злости, расшатывали причал, он крикнул:

— Как?!

Я показал ладони.

— Заживет!

Я согласился, но все равно сказал, что имя у лодки хорошее. Он засмеялся.

— Жена моя Надя. Каприз ее был. Назови, говорит, лодку, как меня, тогда выйду.

— Хорошая?

— Лодка? Сам видел.

— Жена!

— Об чем речь. Сейчас с ума сходит.

Он стащил сапоги, вылил воду и хитро посмотрел на меня:

— Хочешь, надежду покажу?

— Да.

Я подумал, что в поселке он покажет свою жену Надежду.

— Вот! — Он показал мне свои громадные ладони, величиной в три моих.

Муська

Муська — это кошка. Она жила у соседей целых семнадцать лет. И все восемнадцать лет притаскивала котят. И всегда этих котят соседи топили. Но Муську не выбрасывали: хорошо ловила мышей.

Муська после потери котят несколько дней жалобно мяукала, заглядывала людям в глаза, потом стихала, а вскоре хозяйка или хозяин обнаруживали, что она вновь ждет котят, и ругали ее.

Чтобы хоть как-то сохранить детей, Муська однажды окотилась в сарае, дырявом и заброшенном. Котята уже открыли глазки и взирали на окружающий их мусор, а ночью таращились на звезды. Была поздняя осень. Пошел первый снег. Муська испугалась, чтоб котята не замерзли, и по одному перетаскала их в дом. Там спрятала под плиту в кухне. Но они же, глупые, выползли. И их утопили уже прозревшими. С горя Муська даже ушла из дома и где-то долго пропадала. Но все же вернулась.

Хозяева надумали продавать дом. Муську решили оставить в доме: стара, куда ее на новое место. Муська чувствовала их решение и всячески старалась сохранить и дом, и хозяев. Наверное, она думала, что они уезжают из-за мышей. И она особенно сильно стала на них охотиться. Приносила мышей и подкладывала хозяевам на постель, чтоб видели. Ее за это били.

Утром Муську увидели мертвой. Она лежала рядом с огромной, тоже мертвой, крысой. Обе были в крови. Крысу выкинули воронам, а Муську похоронили. Завернули в старое, еще крепкое платье хозяйки и закопали.

Хозяйка перебирала вещи, сортировала, что взять с собой, что выкинуть, и напала на старые фотографии. Именно в этом платье, с котенком на коленях, она была сфотографирована в далекие годы. Именно этот котенок и стал потом кошкой Муськой.

ПЕРВОЕ СЛОВО

В доме одного батюшки появился и рос общий любимец, внук Илюша. Крепкий, веселый, рано начал ходить, зубки прорезались вовремя, спал хорошо — золотой ребенок. Одно было тревожно: уже полтора года — и ничего не говорил. Даже к врачу носили: может, дефект какой в голосовых связках? Нет, все в порядке. В развитии отстает? Нет, и тут нельзя было тревожиться: всех узнавал, день и ночь различал, горячее с холодным не путал, игрушки складывал в ящичек. Особенно радовался огонечку лампады. Все, бывало, чем бы ни был занят, а на лампадку посмотрит и пальчиком покажет.

Но молчал. Упадет, ушибется, другой бы заплакал — Илюша молчит. Или принесут какую новую игрушку, другой бы засмеялся, радовался — Илюша и тут молчит, хотя видно — рад.

Однажды к матушке пришла ее давняя институтская подруга, женщина шумная, решительная. Села напротив матушки и за полчаса всех бывших

знакомых подруг и друзей обсудила-пересудила. Все у нее, по ее мнению, жили не так, жили неправильно. Только она, получалось, жила так, как надо.

Илюша играл на полу и поглядывал на эту тетю. Поглядывал и на лампаду, будто советовался с нею. И вдруг — в семье батюшки это навсегда запомнили — поднял руку, привлек к себе внимание, показал пальчиком на тетю и громко сказал: «Кайся, кайся, кайся!»

— Да, — говорил потом батюшка, — не смог больше Илюша молчать, понял, что надо спасать заблудшую душу.

Потом думали, раз заговорил, то будет много говорить. Нет, Илюша растет молчаливым. Хотя очень общительный, приветливый. У него незабываемый взгляд: он глядит и будто спрашивает — не тебя, а то, что есть в тебе и тебе даже самому неведомо. О чём спрашивает? Как отвечать?

«ЭТО ЖЕ ГОНКИ»

Внуки сидят за компьютером. Внук весь в игре.

— Трах! Бах! Бах! Уничтожен!

— Кого это ты уничтожаешь?

— Соперников. Гляди! Вот мой автомобиль зеленый, вот этот, видишь, красный, надо догнать! Я его догоняю, обгоняю, я его левым бортом... Трах!

На экране красная машина вылетает за бортик, кувыркается, летит под откос. На экране надпись: «Уничтожен» и сумма очков.

— Но это же ужасно, ты убил человека.

— Дедушка, — говорит внучка, — это же гонки, тут же надо побеждать.

— А если бы это было в жизни?

— Но гонки же!

Им некогда со мной разговаривать: новая машина впереди, за поворотом. Надо догнать, надо уничтожить. Гонки же.

Нет, они меня не понимают. И не поймут. Я уже и сам ничего в этом не понимаю. И не хочу понимать.

Лист кувшинки

Человек я совершенно неприхотливый, могу есть и разнообразную китайскую или там грузинскую, японскую, арабскую пищу, или сытную русскую, а могу и вовсе на одной картошке сидеть, но вот вдруг, с годами, стал замечать, что мне очень небезразлично, из какого я стакана пью, какой вилкой ем. Не люблю пластмассовую посуду дальних перелетов, но успокаиваю себя тем, что это по крайней мере гигиенично.

Возраст это, думаю я, или изыск интеллигентский?

Не все ли равно, из чего насыщаться, лишь бы насытиться. И уж тебе ли, это я себе, видевшему крайние степени голода, думать о форме, в которой питье или пища?

Не знаю, зачем зациклился вдруг на посуде. Красив фарфор, прекрасен хрусталь, сдержанно серебро, высокомерно золото, но, завали меня всем этим с головой, все равно все победит то лето, когда я любил библиотекаршу Валю, близорукую умную детдомовку,



и тот день, когда мы шли вверх на нашей реке и хотели пить. А родники — вот они, под ногами. Я-то что, я хлопнул на грудь, приник к ледяной влаге, потом зачерпывал ее ладошкой и предлагал возлюбленной.

— Нет, — сказала Валя, — я так не могу. Мне надо из чего-то.

И это «из чего-то» явилось. Я оглянулся — заводь, в которой цвели кувшинки, была под нами. Прыгнул

под обрыв, прямо в ботиках и брюках брякнулся в воду, сорвал крупный лист кувшинки, вышел на берег, омыл лист в роднике, свернул его воронкой, подставил под струю, наполнил и преподнес любимой.

Она напилась. И мы поцеловались.

Так что же такое посуда для питья и еды? Ой, не знаю. Не мучайте меня. Жизнь моя прошла, но не прошел тот день. Родники и лист кувшинки. И мы под небом.

Подкова

Кузня, как называли кузницу, была настолько заманчивым местом, что по дороге на реку мы всегда застrevали у нее. Теснились у порога, глядя, как голый по пояс молотобоец изворачивается всем телом, очерчивает молотом дугу под самой крышей и ахает по наковальне.

Кузнец, худой мужик в холщовом фартуке, был незаметен, пока не приводили ковать лошадей. Старые лошади заходили в станок сами. Кузнец брал лошадь за щетку, отрывал тонкую блестящую подкову, отбрасывал ее в груду других, отработавших, чистил копыта, клал его себе на колено и прибивал новую подкову, толстую. Казалось, что лошади очень больно, но лошадь вела себя смирно, только вздрагивала.

Раз привели некованого горячего жеребца. Жеребец ударил кузнеца в грудь (но удачно — кузнец отскочил), выломал передний запор — здоровую жердь — и ускакал, звеня плохоприбитой подковой.

Пока его ловили, кузнец долго делал самокрутку. Сделал, достал щипцами из горна уголек, прикурил.

— Дурак молодой, — сказал он, — от добра рвется,

пользы не понимает, куда он некованый? Людям на обувь подковки ставят, не то что. Верно? — весело спросил он.

Мы вздохнули. Кузнец сказал, что можно взять по подкове.

Мы взяли, и он погнал нас, потому что увидел, что ведут пойманного жеребца. Мы отошли и смотрели издали, а на следующий день снова вернулись.

— Еще счастья захотели? — спросил кузнец.

Но мы пришли просто посмотреть. Мы так и сказали.

— Смотрите. За погляд денег не берут. Только чего без дела стоять. Давайте мехи качать.

Стукаясь лбами, мы уцепились за веревку, потянули вниз. Горн осветился.

Это было счастье — увидеть, почувствовать и запомнить, как хрипло дышит порванный мех, как полоса железа равняется цветом с раскаленными углями, как отлетает под ударами хрупкая окалина, как выгибает шею загнанный в станок конь, и знать, что все лошади в округе — рабочие и выездные — подкованы нашим знакомым кузнецом, мы его помощники, и он уже разрешает нам браться за молот.

Катина буква

Катя просила меня нарисовать букву, а сама не могла объяснить какую.

Я написал букву «К».

— Нет, — сказала Катя.

Букву «А». Опять нет.

«Т»? — Нет. «Я»? — Нет.

Она пыталась сама нарисовать, но не умела и перживала.

Тогда я крупно написал все буквы алфавита. Писал и спрашивал о каждой: эта?

Нет, Катиной буквы не было во всем алфавите.

— На что она похожа?

— На собачку.

Я нарисовал собачку.

— Такая буква?

— Нет. Она еще похожа и на маму, и на папу, и на дом, и на самолет, и на небо, и на дерево, и на кошку...

— Но разве есть такая буква?

— Есть!

Долго я рисовал Катину букву, но все не угадывал. Катя мучилась сильнее меня. Она знала, какая это буква, но не могла объяснить, а может, я просто был непонятливым. Так я и не знаю, как выглядит эта всеобщая буква. Может быть, когда Катя вырастет, она ее напишет.

ЗЕРКАЛО

Подсела цыганка.

— Не бойся меня, я не цыганка, я сербиянка, я по ночам летаю, дай закурить.

Закурила. Курил неумело, глядит в глаза.

— Дай погадаю.

— Дальниую дорогу?

— Нет, золотой. Смеешься, не веришь, потом вспомнишь. Тебе в красное вино налили черной воды. Ты пойдешь безо всей одежды ночью на кладбище? Клади деньги, скажу зачем. Дай руку.

— Нет денег.

— А казенные? Аи, какая нехорошая линия, девушка выше тебя ростом, тебя заколдовала.

— И казенных нет.

— Не надо. Ты дал закурить, больше не надо. Ты три года плохо живешь, будет тебе счастье. Положи на руку сколько есть бумажных.

— Нет бумажных.

— Мне не надо, тебе надо, я не возьму. Нет бумажных, положи мелочь. Не клади черные, клади белые. Через три дня будешь ложиться, положи их под подушки, станут как кровь, не бойся: будет тебе счастье. Клади все, сколько есть.

Вырвала несколько волосков. Дунула, плюнула.

— Видишь зеркало? Кого ты хочешь увидеть: друга или врага?

— Врага.

Посмотрел я в зеркало и увидел себя. Засмеялась цыганка и пошла дальше. И остался я дурак дураком. Какая девушка? Какая черная вода, какая линия? При чем тут зеркало?..

В ЗАЛИВНЫХ ЛУГАХ

Поздней весной в заливных вятских лугах лежат озера.

Дикие яблони, растущие по их берегам, цветут, и озера весь день похожи на спокойный пожар.

Ближе к сенокосу под цветами нарощиваются плоды. Красота становится лишней, цветы падают в свое отражение. И на воде еще долго живут. Озера лежат белые, подвенечные, а ночью вспоминается саван.

Падает роса. Лепестки, как корабли, везущие слезы, покачиваются, касаясь друг друга.

Постепенно вода оседает, озера уходят в подземные реки, и как будто лепестки вместе с ними.

Вода в вятских родниках и колодцах круглый год пахнет цветами. Пьют эту воду кони и люди, птицы и звери, цветы и травы, дает эта вода жизнь всему существу, всему живому.

Только мертвым не нужна вода. Поэтому место для них выбирают на взгорьях.

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА СТОЛБАХ

Мальчик жил с родителями, а его родители жили немирно друг с другом, ссорились, дело шло к разводу.

Мальчик любил родителей, и очень, до слез, страдал от их ссор. Но и это их не вразумляло. Наедине с каждым мальчик просил их помириться, но и отец и мать говорили друг о друге плохо, а мальчика старались завлечь на свою сторону. «Ты еще не знаешь, какой он подлец», — говорила мать, а отец называл ее дурой. А вскоре, уже и при нем, они всячески обзывают друг друга, не стесняясь в выражениях.

О размене их квартиры они говорили как о деле решенном. Оба уверяли, что мальчик ни в чем не пострадает: как была у него тут отдельная комната, так и будет. С кем бы он ни жил. И что он всегда сможет хо-

дить к любому из них. Они найдут варианты размена в своем районе, не станут обращаться в газету, а расклеят объявления сами, на близлежащих улицах. Однажды вечером мать пришла с работы и принесла стопку желтых листочек с напечатанными на них объявлениями о размене квартиры. Велела отцу немедленно идти и их расклеивать. И клей вручила, и кисточку.

Отец тут же надернул плащ, схватил берет и вышел.

— А ты — спать! — закричала мать на сына.

Они жили на первом этаже. Мальчик ушел в свою комнату, открыл окно и тихонько вылез. И как был, в одной рубашке, побежал за отцом, но не стал уговаривать его не расклеивать объявления, он понимал, что отец не послушает, а краляся, прячась, сза-

ди и следил. Замечал, на каком столбе, или заборе, или на остановке отец прилеплял желтые бумажки, выжидал время, подбегал к ним и срывал. С ненавистью комкал объявление, рвал, швырял в урны, топтал ногами, как какого-то гада, или бросал в лужи книзу текстом. Чтоб никто даже и не смог прочесть объявления.

Так же незаметно вернулся в дом. Наутро затемпературил, кашлял. С ним родители сидели по очереди. Он заметил, что они перестали ругаться. Когда звонил телефон, снимали трубку, ожидая, что будут спрашивать о размене квартиры. Но нет, никто не спрашивал.

Мальчик специально не принимал лекарства, прятал их, а потом выбрасывал. Но все равно через неделю температура выровнялась, врачиха сказала, что завтра можно в школу.

Он подождал вечером, когда родители уснут, разделялся до майки и трусов и открыл окно. И стоял на сквозняке. Так долго, что сквозняк и они почувствовав-

ли. Первой что-то заподозрила мама и пришла в комнату сына. Закричала отца. Мальчику стало плохо. Он рвался и кричал, что все равно будет болеть, что пусть умрет, но не надо разменивать квартиру, не надо расходиться. Его прямо было в приступе рыданий.

— Вам никто не позовит! — кричал он. — Я все равно сорву все объявления! Зачем вы так? Зачем? Тогда зачем я у вас? Тогда вы все врали, да? Врали, что будет сестричка, что в деревню все вместе поедем, врали? Эх вы!

И вот тогда только его родители что-то поняли.

Но дальше я не знаю. Не знаю и врать не хочу. Но то, что маленький отрок был умнее своих родителей, это точно. Ведь сходились они по любви, ведь такой умный и красивый сын не мог быть рожден не по любви. Если что-то потом и произошло у них в отношениях, это же было не смертельно. Если уж даже Сам Господь прощает грехи, то почему мы не можем прощать друг другу обиды? Особенно ради детей.

БОЧКА

Вспоминаю и жалею дубовую бочку. Она могла бы еще служить и служить, но стали жить лучше, и бочка стала не нужна. А тогда, когда она появилась, мы въехали не только в кооператив, но и в долги. Жили бедно. Готовясь к зиме, решили насолить капусты, а хранить на балконе. Нам помогли купить (и очень недорого) бочку для засолки. Большую. И десять лет подряд мы насаливали по целой бочке капусты.

Ежегодно осенью были хорошие дни засолки. Накануне мы с женой завозили кочаны, мыли и терли морковь, доставали перец-горошек, крупную серую соль. Приходила теща. Дети помогали. К вечеру бочка была полной, а уже под утро начинала довольно урчать и выделять сок. Сок мы счерпывали, а потом, когда капуста учреждалась, лили обратно. Капусту пропыкали специальной ореховой палочкой. Через три-четыре дня бочка переставала ворчать, ее тащили на балкон. Там укрывали стегаными чехлами, сшитыми бабушкой жены Надеждой Карповной, мир ее праху, закрывали крышкой, пригнетали специальным большим камнем. И капуста прекрасно сохранялась. Зимой это было первое кушанье. Очень ее нам хвалили. В первые годы капуста кончалась к женскому дню, потом дно заскрепляли позднее, в апреле. Стали охотно дарить капусту родным и близким. Потом как-то капуста дожила до первой зелени, до тепла, и хотя сохранилась, но перестала хрустеть. Потом, на следующий год, остатки ее закисли.

Лето бочка переживала с трудом, рассыхалась, обручи ржавели, дно трескалось. Но молодец она была! Осенью за неделю до засолки притащишь ее в ванную, чуть ли не по частям, подколотишь обручи и ставишь размокать. А щели меж клепками — по пальцу, и кажется, никогда не восстановится бочка. Нет, проходили сутки, бочка крепла, оживала. Ее ошпаривали кипятком, мыли с полынью, сушили, потом клали мяту или эвкалиптовых листьев и снова заливали кипятком. Плотно закрывали. Потом запах дубовых красных плашек и свежести долго стоял в доме.

Последние два года капуста и вовсе почти пропала, и не от плохого засола, засол у нас исключительный, но не елась она как-то, дарить стало некому, питание вроде улучшилось, на рынке стали бывать...

Следующей осенью и вовсе не засолили. Оправдали себя тем, что кто-то болел, а кто-то был в командировке. Потом не засолили сознательно, кому ее есть, наелась. Все равно пропадет. Да и решили, что бочка пропала. У нее и клепки рассыпались. Но я подумал, вдруг оживет. Собрал бочку, подколотил обручи, поставил под воду. Трое суток оживала бочка, и ожила. Мы спрашивали знакомых, нужна, может, кому. Ведь дубовая, еще сто лет прослужит.

Бочка ждала нового хозяина на балконе. Осень была теплая, бочка вновь рассохлась. Чего она стоит, только место занимает, решили мы, и я вынес бочку на улицу. Поставил ее, но не к мусорным бакам, а

отдельно, показывая тем самым, что бочка вынесена не на выброс, что еще хорошая. Из окна потом видел, что к бочке подходили, смотрели, но почему-то

не брали. Потом бочку разбили мальчишки, сделав из нее ограду для крепости. Так и окончила жизнь наша кормилица. На балконе теперь пусто и печально.

МАССАНДРА, ПАНДА И МАНСАРДА

Стихи с таким количеством иностранных слов сочинились из чувства протesta против вторжения в русский язык всякой чуженины, начиная с 80-х годов, как пошли тогда всякие консенсусы, так и ползут доныне. А вторая причина, почему нашел на меня такой стих: не все же быть серьезным. Да и друзей поэтов хочется позабавить. Итак:

Я пил массандру на мансарде,
Быв в диалоге с некой Сандрай,
Имевшей мужа Александра.

А он владел зверюгой пандой,
Он панду получил приватно,
Когда шпионом был в Уганде.

Была та панда клыковата,
Не понимала циферблата,
Была от джунглей протеже,
Всегда ходила в неглиже.

Ее держал он за ротондой.
А сам гонял на красной хонде.

К мансарде бес его принес.
Персона я ему нон грата,
И с ним не будет конкордата.
— Иду, — кричит, — за крошкой пандой,
Не все же ей глотать овес.

Ужель мгновенна жизни трата?
За Сандру погибать, ребята?

Она, конечно, красовата,
Но чересмерно глуповата.
Мужчин не любит, любит злато,
Вот что хочу я вам сказать.

Я что, у панды клиентура?
Она Уганды креатура.
Такая морды квадратура,
Так что ж мне, в морде исчезать?

Уж не писать мне палиндромов,
Не любоваться палисандром,
И не бывать мне в гастрономе,
Где только днем купил массандру.

Но чу! — муж близится...
Без панды.
Один.
О, перемена темы —
В руках содержит хризантемы,
Гласит:

— Живи в московской хмаре.
Конечно, ты не бесталантен,
Но очень не политкорректен,
И уж совсем не толерантен.
Тебя мой зверь не переварит.

Тебя загложет миссис Сандра.
Женись!
А я в турне, в круизо,
Мне надо завершить авизо.

Я закричал: «Нет! Лучше панда!»

У КАЖДОГО СЫНА РОССИИ ПЯТЬ МАТЕРЕЙ

Когда оглядываешься на прошедшее двадцатилетие, убеждаешься в верности предсказаний старцев о России — она бессмертна. Любое другое государство не вынесло бы и десятой доли испытаний, выдержанных нашим Отечеством. В чем секрет? Он в отношении к земле. Самое мерзкое, что принесла демократия в Россию, — это навязывание нового отношения к зем-

ле. Земля как территория, с которой собирают урожаи, земля как предмет купли и продажи, и только. Нет, господа хорошие, земля в России зовется Родиной. Из земли мы пришли на белый свет, в землю же и уйдем, в жизнь вечную.

Как былинные богатыри, слабея в битве, припадали к груди матери сырой земли, так и в наше время, она

даст силы. Но только тем, кто любит ее. И это главное условие победы — любовь к земле. Земля — Божие достояние. Совсем неслучайно, что самые большие просторы планеты, самые богатые недра, самые чистые воды были подарены именно России. И нынешние испытания посыпаются нам, чтобы мы оправдали надежды, на нас возложенные.

У нас нет запасной родины. Нам здесь жить, здесь умирать. У нас нет двойного гражданства. Ни за какие заслуги, просто так, мы получили в наследство величайшую родину, необычайной силы язык, на котором говорят с Богом, у нас ведущая в мире литература, философия, искусство. Надо доказать, что мы имеем право на такое наследство. Что именно мы, а не варяги нового времени, хозяева этого наследства.

Что бы там ни болтали о своей значительности большие и маленькие вожди, колесо истории врашают не языком, а трудовыми руками. Человек на земле — главное лицо каждой эпохи. Он кормитель и поитель всех живущих, и отношение к нему должно быть соответственным. Он не пролетарий, которому теперь уже окончательно нечего терять. Пролетарий в свое время добился революций и переворотов, а в наше время за это на них наплевали с высокого дерева, называемого новым мировым порядком. Теперь пробуют плевать и на крестьянство, прикрываясь трескотней фраз о любви к земледельцам. Если бы так, не кормили бы нас заграничной мерзостью, суррогатами — заменителями пищи.

Неужели еще кто-то верит медведю в демократическом зоопарке, что он свергнул прежнюю партию коммунистов ради счастья народного? Единороссы стремительно занимают место КПСС в СССР. Уже и

для карьеры чиновники бегут в нее. Тepерешняя правящая партия не давит идеологией (у нее ее нет), но гораздо изощреннее издевается над народом. Цены на хлеб растут, а хлеборобы живут все хуже и хуже. Жить все тяжелее и тревожнее, а барабанный бой, славящий реформы, усиливается. Смертность превышает рождаемость, пенсионеры — люди, угробившие ради государства свое здоровье, становятся для него балластом, наркомания, преступность, проституция внедряются в сознание как норма при создании видимости борьбы с ними. И все это покрывается жеребячим ржанием жваноидов сильно голубого экрана. Образование готовит англоязычных биороботов, легко превращаемых в голосующую биомассу, в зомбированный либералами электорат. И на все это смотреть? И с этим смиряться?

У них деньги, у нас любовь к родной земле, и нас не купишь. Другой жизни у нас не будет. А отчет за свою единственную жизнь придется держать каждому.

Пять матерей у каждого православного: та, которая родила, крестная мать, мать сыра земля, Божия Матерь и матушка Россия. Мы их сыновья, и каждый из нас единственный и любимый. Они не оставят нас ни в каких испытаниях. Имея таких заступников, кого нам бояться? Ты любишь Россию? Значит, ты стоишь на поле боя за нее. Да, твое место — это поле боя. С поля боя первыми бегут наемники, которые сейчас зашевелились, чуя наживу. Они мгновенно струсят, как только почувствуют нашу силу. А она от нас никуда не уходила, даже копилась.

Теперешнее поле боя — Русское поле. Слово «поле» уже подразумевает место схватки. Нельзя же, чтобы на русском поле продолжали расти сорняки.

По-прежнему все впереди

До осени 1968 года я вовсю писал и печатался. Пропивая в Сандах свои гонорары, мы обычно шутили так: «Старики, а ведь мы — писатели. — Тут пауза и дальше хором: — Но неплохие!»

А осенью 68-го на ходу, в метро, открыл свежий номер «Нового мира». Пробежал оглавление: «Бухтины вологодские завиральные». Конечно, начал с них, ибо у вятских с вологодскими историческое противостояние. Когда в вятских лесах нет белок, значит, вятский лесник проиграл их в карты вологодскому. На первой же станции я выскочил из вагона, помчался наверх. Мне надо было куда-то приткнуться, чтобы остаться одному. То, что я начал читать под землей, меня потрясло. Примерно такое же потрясение, с годами исчезнувшее, было при чтении «Одного дня Ивана Денисовича». Но

там была политика, сенсация, разоблачение. А на них далеко не уедешь. Здесь же было все настолько просто, все такое пережитое мною, моей родней, моим народом и написанное с такой легкостью, с таким юмором, обличающим высочайший талант, что читал, забывая дышать. Вцепился в журнал, боясь, что он исчезнет, как приснившийся. Дочитал и поднял голову. Я сидел у подножия памятника Пушкину.

Я понял, что жизнь моя, как писателя, закончилась. Писать после вот этого, написанного не мною, было бессмысленно. А ведь прочел о том, свидетелем чего был сам, сам испытал все эти издевательства над народом в послевоенные и в кукурузные времена, гонения на церковь, обнищание людей, давление идиотской идеологии марксизма-ленинизма, снос деревень,

высокомерие и хамство номенклатуры, нищету людей и их незлобие, их терпение и объединяющую всех нас любовь к Отечеству. Да, был «уже написан “Вертер” и всякие штуки посильнее “Фауста” Гете», но до «Вологодских бухтин» им было как до звезд. Там была литература, здесь жизнь.

С боязнью и трепетом начинал читать «Привычное дело». И недавно, спустя сорок лет, перечитал. И вновь, как и при первом прочтении, разревелся в том месте, когда Иван Дрынов сидит на могиле Катерины и потрясенно и безропотно спрашивает жену: «Катя, ты где есть-то? А я вот, а я вот, Катя...» И горе пластил его на холодной земле. Ни разу не посмел я спросить Василия Ивановича, как он писал эти строки? Думаю, он и не помнит. Думаю, многие страницы беловской прозы написаны за него его ангелами.

Счастлив я, имея в этой жизни брата во Христе Василия. Счастлив, что жил во времена создания великого «Лада» — этой поэмы о России, о русском народе. Это подвиг, равный «Словарю великорусского языка» Владимира Даля и «Поэтическим воззрениям славян на природу» Афанасьева. Даже больше. У Афанасьева все-таки очень силен элемент язычества, а у Белова все освещено Фаворским сиянием христианства.

Помню трескучую зиму 79-го, когда впервые приехал в Тимониху. Тогда же начал снимать родину Василия Ивановича его друг Анатолий Заболоцкий. Мороз был такой, что не могли завести машину. Ходили за кипятком на ферму.

Баню топили. Ту самую, о которой есть знаменитое стихотворение «По-черному топится баня Белова» и из которой когда-то в ужасе выскочил японский профессор, крича: «Тайфун!» Тогда же я с размаху, выходя из дверей, треснулся головой о верхний косяк. Вскоре приложился и Анатолий. Василий Иванович, огорчен-но охая, все приговаривал: «Да что ж вы это все о ко-

сяк-то трескаетесь? И Передреев, и Горышин, и Горбовский, и Женя Норсов. Личутин же не треснулся. И ни Абрамов, ни Балашов». — «А Астафьев трескался?» — «Он вас поумнее, заранее нагнулся». Когда в Тимониху, эту священную Мекку русской литературы, поехал Распутин, я предупредил его насчет косяка. Он поехал, вернулся. — «Ну как?» — «Ну, как иначе, надо ж было отметиться».

Помню гениальный ответ Белова на мои хвастливые слова. Мы сидели с ним и я, раздухарившись, заявил: «А ведь я, Василий Иванович, тебя перепишу». Он посмотрел и серьезно спросил: «От руки перепишешь?» Слышиште, нынешние молодые? Займитесь. Это будет великая школа. Не все же Чехову лермонтовскую «Тамань» от руки переписывать.

Вообще зря сейчас замолчали и не обсуждают роман Белова «Все впереди». На него тогда так торопливо набросились, так вульгарно и примитивно истолковали, будто речь о грядущей схватке евреев и русских. Если бы только так. Конечно, евреи, как всегда, как люди попредприимчивей, настригли с перестройки побольше купонов. Но благодаря им и русские зашевелились. Но все это видимый, верхний и безвредный для основ жизни слой. На самом же деле все сложнее и страшнее.

Перестройка и демократия как способ дальнейшего уничтожения России набирают обороты. Врагам нашего спасения ненавистна русская культура и, особенно, наша любовь к России. И тут врагам России будет абсолютна безразлична национальность любящих ее. Ты не хочешь променять родину на общечеловеческие ценности? — Умирай. Для тебя Христос дороже жизни? — Умирай. Для тебя русская земля не территория, а мать сыра земля? — Ложись в нее. Вот что такое — все впереди.

Так кто же спасется? И как спастись? Но об этом к следующему юбилею Василия Белова.

Продолжение следует.

